

...Он кажется героем такой чистоты, что преступления будто бы не было.

Раскольников – сгусток большой совести, сострадания, желания помогать: неужели обладающий такими качествами человек возьмётся за топор, воплощая выморочную идею...

...Этак всякий пойдёт старушек лущить: человек и развился, когда перестал использовать физическое устранение неприятных ему других и стал пользоваться возможностями слова...

Впрочем, нет – убивали, убиваем и будем убивать – так устроены: не мешай, моя территория...

Но Раскольников убивает не из-за территории, едва ли процентщица так уж мешает ему – он ставит экзистенциальный эксперимент: над собой, над внутренним своим составом: выдержит ли...

Не выдержал.

Ахматова говорила, что Достоевский не знал всей правды, полагая, что убьёшь старушку и будешь мучиться всю жизнь; он не предполагал, что утром можно расстрелять пятнадцать человек, а вечером выбрать жену за некрасивую причёску...

Может, предполагал?

Ведь нарисовал же бесов, пользуясь красками гротеска, вообще излюбленными им. Не только ими: красками правды, предчувствия, постижения реальности, и человека в ней...

Раскольников верует буквально: то есть не очень глубоко; Достоевский, используя формулу: до тех пор, пока человек не переменится физически, предполагал, что такое возможно: значит, видел сквозь плотные слои материальности.

Как видел творящееся в недрах человеческих душ: а там закипает столько всего, что не захочешь, а напьёшься...

И пьют у Достоевского, пьют многие; недаром черновое название «Преступления и наказания» – «Пьяненькие».

Пьяненькие, жалкие, вбитые в нищету...

Она хрипит старухой: скученность больших домов противоречит жизни, и опять Мармеладов развивает теорию бессмысленности просить в долг...

А кто это выходит на сцену?

Крепкий, щекастый, разумеется, Фердыщенко, заставляющий усомниться в том, что воспоминания – ценность.

Ведь ежели хороши, их хочется повторить, когда худые – забыть, отказаться...

Из жизни не вычеркнешь ничего – как из черновика: замечали?

Невозможность отступления увеличивает безнадежность.

Мышкин проявится, но не в его силах будет изменить мир, оставшийся и после Христа таким же, как был: с насилием государств, войнами, тотальным неравенством, смертью, болезнями...

Люди не говорят, как у Достоевского: тем не менее, его людей хочется слушать.

Они сбивают речевые пласты напользающимися друг на друга структурами, захлёбываясь, спеша...

Всё спешит, всё несётся, мелькает калейдоскоп разнообразнейших персонажей; Карамазовы – это будто один, расчленённый человек, и Иван уравнивает мыслью сладострастие отца, который будет убит смердом, смердящим...

Нет людей хороших.

Нет плохих.

Снег падает на городские задворки; всякий человек – и белоснежен внутри, и грязен, как неприглядные задворки эти; Достоевский, показывая человеческое разнообразие, призывал быть терпимее друг к другу, добрее; всегда проводя через мрачные коридоры к астральному свету: надо только почувствовать...

2

Сундук, на котором ребёнком спал Достоевский, можно увидеть в музее, располагающемся рядом с больницей, во дворе которой стоит странный, сильный памятник: писатель, словно разбуженный выстрелом... или выдирающийся из лент небытия к сияющему простору мистического космоса.

Не от утlosti ли того пристанища, где пришлось спать ребёнку, банька с пауками? Потусторонняя тоска Свидригайлова, который уедет в Америку на энергии выстрела?

Страшные колодцы петербургских дворов – в Москве таких нету: недаром Достоевский именовал Петербург самым умышленным городом на свете, когда Москва обладала естественностью прорастания в явь.

Москва пьяновата и пестровата.

Петербург холоден и строг.

Вам жалко Макара Девушкина?

Ведь он жалок...

А вы сами?

Жалкое вместе растерянное, детское есть в каждом.

И впрямь: мало живущий, ничего не знающий ни о Боге, ни о том свете человек таков, что его не может не быть жалко.

Но Достоевский провидел тайный свет, и постоянное стремление к оному важнее даже огромной языковой работы, проделанной классиком.

3

Смертное манит, запредельное влечёт; Кириллов, строящий теории самоубийства, больше вызывает сострадание, чем...

Провинциальная дыра становится вместилищем кошмаров, принимая в себе бесов.

В революции, кроме крови и жертв, Достоевский не видел ничего; и, ожидая кошмарных перспектив, не предполагал общечеловеческого прорыва к свету.

...Который знал, как мистическую основу бытия; свет, определяющий жизнь, влекущий, манящий...

4

Суть Достоевского – свет: дорога к оному, прохождение сквозь лабиринты, ради обретения световой гармонии.

Бытует мнение о хаотичности языка классика: это так и нет.

Действительно, Достоевский с неистовостью – точно текст летит над земными препонами – сбивает пласты разных речений: канцеляризм, жаргон, тут захлест всего, мешанина, но именно такой язык и нужен для построения лабиринта, ведущего к световым просторам, столь редко встречающимся в жизни.

Если бы было иначе, не вышло бы эффекта, и речь на могиле Илюшеньки не прозвучала бы такой чистотой и болью.

Раскольников кажется чистым настолько, что убийство невозможно: будто это развернулись фантазии его.

Но нет – дребезжат детали, громоздится мерзкий быт, выглядывает из щели двери отвратная старушонка.

Мерзкого много, провинциального много, церковных долдонов много.

Страха, страсти.

Мышкину не найдётся места – как не сложится условий для второго пришествия, как невозможно представить условия посмертного бытования.

Достоевский кажется всеобщим братом и всем другом.

И мерцает слезинка ребёнка вечным предупреждением.

5

Слезинка ребёнка мерцает предупреждением, не услышанным миром.

Не увиденным.

В своей огромности и вечном захлесте страстей мир сносит подобные мелочи, которые так велики сущностью.

В недрах себя каждый согласится с Достоевским, но внешнее организовывается сложно – боль и насилие продолжают созидать мир.

Книги не меняют его.

Но и без книг совсем захлебнулся в несправедливости и прагматизме.

6

Шаржированный Тургенев, представленный Кармазиновым, другим – с точки зрения Достоевского – быть не мог: тут противопоставление двух противоположных форм творчества: бурление, поток, истовость Достоевского, и ориентация на конкретный шедевр у Тургенева.

Слишком разные: и уважительное друг к другу отношение в жизни будто бы ничего не значило.

...Бесы клубятся в провинциальной дыре: надо же откуда-то начинать.

К ним не относится Кириллов, как-то криво втянутый (или почти) в их компанию.

Теоретик самоубийства, так глубоко погружённый в себя, что действительность вторична.

Сумрачный колорит: не мог быть другим – вот появляется Шигалёв, глядящий мрачно, рисующий панорамы грядущего мира: даже не тиранического, а дьявольски искажённого...

Революционеры спародированы?

Нет, методы их слишком претили Достоевскому, не верившему в подобные возможности переустройства общества, думавшему, что слезинка ребёнка...

А мир может меняться только через кровь: как ни ужасно это. Назовите хоть одно человеческое значительное свершение, обошедшее без оной...

Мир, меняющийся через кровь, не устраивает классика, заваривающего крутую провинциальную драму.

Пока провинциальную: она выплеснется в глобальный масштаб, исказив всю действительность, меняя её, поднимая одних, низвергая других, ломая души, и...

Всё смешивается в алхимическом огромном сосуде классика, где впервые появляются очевидно плохие, почти без оттенков: Верховенский и проч...

7

Зеркало должно быть огромно, чтобы отразить душу народа; оно будет неровно и выпукло тою болью, что живёт в ней, и сиять, как сияет свет затаённой надежды.

Суммарный свод книг Достоевского, отшлифованный временем, превращается именно в такое сверкающее зеркало.

...Ибо кристалл души Раскольникова чист, как у ребёнка; ибо фантом его зловещей фантазии, выданной за интеллектуальное построение, точно проносится мимо: хотя убийство было, этого невозможно отрицать; но накал муки – проедающая сущность героя совесть – так высок, а страдания в заключении столь серьёзны, что и содеянное растворяется в них.

...Ибо нового Христа не ждёт реальность, о чём знает прекрасно русифицированный великий инквизитор, но Мышкин, возвращающийся из Швейцарии, всё же хочет проверить возможность родной земли принять новое проявление пророка.

...Ибо Карамазовы – точно... не амбивалентность даже, а «расчетверённость» души русской, где Алёша – световой полюс, Иван – интеллектуальный вектор, причудливо изгибающийся, раз не выдерживает умственного напряжения, Митя – ярость страсти и лютый порыв щедрого сердца, а Фёдор – тьма земного пути; сложный суммарный портрет русского бытия ложится отражением в пласт гигантского зеркала, нечто проясняя, ещё больше запутывая многое...

...ибо бесы всегда или часто рядятся в одежды всеобщего благополучия, ни в грош не ставя чужую кровь, не желая проливать свою.

Но даже и Макарыч Девушкин: жалкий, крошечный, смешной человечек есть писк униженного русского естества; тщетный звук мечты о корочке счастья.

...Ибо Сонечка Мармеладова найдёт ядовитую сладость в поспраивании собственного я ради жизни близких; а сотворить чудо ради них может каждый.

И все загнутые сложно, с заплесневелыми стенами лабиринты, письма правды проступают на каких сквозь мутные потёки времени выводят к свету: в этом суть.

Речь на могиле Илюшеньки прожигает сгустками душевных, высших лучей смертный, свинцовый морок яви.

Мышкин оставляет след в живущих – и светится он, призывая к правде.

Даже Фердыщенко, предложивший салонную, пустую игру, подразумевал звенящие струны совести.

...Как не современно всё!

Как противоречит технологической, прагматизмом скрученной, целесообразностью питанной яви.

И как мощно, верно работает зеркало, отражая прошлое, созидая грядущее.

8

Двойник, Петербург, тёмные лестницы, богатые квартиры, где гудят праздники, требующие великолепного масла великого художника; Белинский, оставшийся недовольным повестью...

Естественно – её абсурдные изломы, равно, как и снежные ночи, где один персонаж встречает другого: себя самого – были далеки от того разлива реализма, который критик ожидал от молодого тогда писателя.

Титулярный советник!

Сколько их проявилось на русских страницах!

Мелкие и смешные, неудачливые и затерянные в толпе, чудаковатые и несчастные: они представляли собой пёстрые калейдоскопы тогдашних людей; и Яков Петрович не являлся исключением.

Вот он бестолково топчется целый день по делам, сидит у доктора, то отказывается принимать лечение, то соглашается на лекарства; потом бессмысленно перемещается по городу: этому умышленному городу с его архитектурными ущельями...

Впрочем, почему бессмысленно: смысл в том, чтобы встретить себя самого – Якова Петровича Голядкина, свою худшую часть, которая постепенно возобладает.

Однако, и хорошая-то не очень хороша: тут даже не маленький человек, а козявка какая-то...

Очень реальная козявка, не отступающая от реалистических правил изображения действительности.

Всё серо-чёрное, мчащееся куда-то; вяло бормочущий двойник, постепенно забирающий жизнь основного персонажа...

В каждом из нас живёт такой – и тут уж ничего не попишешь.

Однако, зафиксированного словесно не отменишь, и бегут Яковы Петровичи Голядкины, соревнуясь, бегут, опережая друг друга, не зная, кто победит.

9

Щекаст, но едва ли розовощёк – он выходит на сцену, хотя стоит сбоку, теребя края малинового занавеса...

Он совсем не оптимистичен, и заранее просит денег в долг ему не давать; да и фамилия его – Фердыщенко – топорщится нелепо.

Он введён, как функция, хотя и выглядит, как человек: его миссия – разбередить в вас худое, заставить его показаться, проявиться на свету, дабы стыд прожёт кислотой сознание...

Что такое покаяние?

О! Это вовсе не разбивания лба об церковный пол с последующим повторением всех жизненных гадостей, на какие только вы способны.

Покаяние – это осмысление плохого: с тем, чтобы не повторялось оно, отпустило из плена.

И вот тут необходим метафизический Фердыщенко, который обязательно выйдет на сцену, ежели у вас совсем не атрофирована совесть.

Да, разумеется, можно вспомнить многочисленные истории маугли – не того, романтизированного Киплингом мальчика, но подлинных – сотню или две – росших среди зверей и не имевших представления о совести; но ведь заложена она в нас, впечатана во внутренний состав, только толчки нужны, чтобы проснулась...

Если становится меньше и меньше таких воспитательных толчков, люди деформируются, расчеловечиваясь.

Что и наблюдаем сегодня.

Так, что не хватает Фердыщенко: и помощнее чтобы был, настойчивей требовал исцеляющих воспоминаний...

10

Страшно быть смешным, саднящее постоянное нечто разъедает душу, и сам себя таким считаешь: смешным, нелепым...

Сколько таковых вписано в жизнь: ратоборствовать с реальностью сил не дали, и доказывать ей, что ты не такой – не получится...

Узел закрутится туго, как на любой странице Достоевского: смертельно затосковавший смешной человек, окончательно решивший убить себя, отогнал криком девочку, подбежавшую к нему на улице с бедою своею, аж тёкшей из глаз; и, придя домой к себе, в пятый этаж, сильно заела совесть смешного...

Мол, тут уже не смешной выходит, а подлый.

Подлый-подлый, весь коричневый внутри, бурый, а бурый – цвет греха.

Выстрел отдалился, настал сон, появилась совсем другая жизнь.

Вот и сознание после смерти, оказывается, живёт: несётся себе среди пространств, пока не начинает гореть солнце, и не открывается солнечный мир: почти, как наш, только лишённый всего земного негатива: о! сколько его ныне – в геометрической прогрессии вырос, вот бы поразился смешной-то...

И вот затесавшийся в другую жизнь – без права на это – смешной человек сеет среди идеального своё – негодее, и сеет... как-то сам не желая того: просто ведь не таков, как они, не знающие зла...

А просыпается – с изменившимся лицом и с чётким осознанием, что лучше сеять любовь среди несовершенного мира, чем наоборот...

Суть тут – в изменившемся лице, в осознание, которое делает лицо таковым; а ещё, верно, в том, что надо побыть подлинно смешным – для других – чтобы дорасти до откровения любви.

Аркадий Макарович Долгорукий – о себе, о событиях, вовлекших его метафизически – через земные данности водоворотом; о своей заветной идее...

Она бесхитростна – с одной стороны: стать Ротшильдом; она громоздка и избыточна: утвердиться среди людей, считающих его подростком.

Таков ли он?

Записки наслаиваются, вихряются, летят; скорость происходящих событий увеличивается, Версилов снова что-то говорит; и снова все – все! – воспринимают Аркадия подростком, каким ему так не хочется быть.

Взросление трудно во все времена.

Вхождение в жизнь, с необходимостью притираться к ней, приноравливаться ко всем её каверзам и шероховатостях мучительно...

Разнообразие мук велико, и шкала их никем не рассчитана.

Незаконнорожденный, и при знакомстве, когда узнают фамилию, непроизвольно интересуются: не князь ли?

Много унижений претерпевший в пансионе Тушара, обдумывает жизнь, и, вместе с классиком, вопрос: растут ли после 19 лет?

Растут до конца дней своих, и потом – о чём ведал Достоевский.

Жизнь – форма бесконечного роста; хотя земная кажется просто движением к смерти, с напластование массы нежного на пути.

Всепримирение идей и всемирное гражданство Версилова есть одна из коренных русских болей: а всевозможного российского «боления» в «Подростке», как и в других машинах Достоевского много, с избытком.

В России был и Николай Фёдоров – со своими, так толком никем и не понятыми идеями.

Мелькают коридоры, которыми проходит Аркадий: они усложняются, повороты закручиваются, записки растут...

И мерцают, разворачиваясь, поля метафизики: над романом, внутри него; мерцают, вытягивая себя, даже ежели и не хочешь.

Игра прожигала Достоевского, организуя периоды его жизни, готовя почву будущих книг; игра звенела медными дисками в его сознание, взрывалась, уводила реальность из-под ног.

Игра лентами вливалась в роман, и Алексей Иванович повторял зигзаги своего автора, будучи союзным с ним во страсти.

Игра игрока.

Философия ощущений.

Ощущения, обнажённые до кровотоочивого предела, до тока, сильно бьющего с проводов действительности.

Игра как объект исследования.

Достоевский тяжело изживал свои страсти.

На телеге едет в Оптину, готовый созидать словесную гроздь такой силы, что перед ней померкнут предыдущие...

Прощается с жизнью, распределив пять минут, и как много кажется это, как много...

А вот Достоевский, везомый в ссылку: в дичь и боль отношений, в холод, в непроходящую боль...

Игра, каляющая неистово: ночью врывающийся к жене игрок, похищает тальму её, чтобы вновь проиграть...

Неистовство!

Язык, закручиваемый турбулентно, мчащийся лентами самых различных речений: мастеровщины, чиновничества; густейшая плазма людей, собираемая на пяточке каждого пространства; нищие, тараканьей жизнью набитые дома...

И сострадание ко всем; неистовая бездна сострадания, рубиновые его стигматы, горящие на душе.

Не пройдут.

С «Бедных людей» началось: униженное, жалкое, мелкое...

Маленький человек Достоевского меньше мелкого: и любит, любит его писатель, высказавшийся за всех униженных и оскорблённых.

Едет в Россию русский вариант Христа, возвращается из тихо-комфортной Швейцарии, едет, покуда в сознание одного из чёрным мазанных зреет Легенда.

Легенда, согласно которой Христос не нужен: и без него всё слажено в мире, все соты подогнаны, всё руководство распределено.

Очень актуально.

Никогда не стареет.

И зреют в дрянной щели городишки, гаже которых не придумать, планы по изменению мира: столь же глобальные, сколь и жестокие, зреют, наливаются соком бесы, уговорят мечтательного тихого Кириллова покончить с собой – с целью.

Мол, ради дела...

Раскалённая плазма достоевских текстов выливается в души – чтобы выжигать всё тёмное, зверовидное, чтобы оставался свет, ибо Достоевский всегда выводит к свету...

Она писала об отце, кропотливо восстанавливая его образ; она писала о специфике бытования писателя в общей среде, которую он, преобразуя словесной мощью, должен словно перевоссоздавать – на века, для грядущих людей.

«Великий писатель еле соприкасается с землей, он проводит жизнь в фантастическом мире своих образов. Он ест механически, не замечая, из чего состоит обед; он удивляется, что наступила ночь, и ему кажется, что день только что начался».

Так повествовала Любовь Достоевская об отце: и, словно отёрнутая дочерью портёра, открывала вход в лабораторию, умноженную на сад: сиятельное место обитания классика, который... ещё не был классиком:

«Никто не мог тогда предвидеть, какое выдающееся положение займет Достоевский позже не только в России, но и во всем мире. Он сам не предугадывал этого. Его начали уже переводить на иностранные языки, но отец не придавал значения этим переводам».

Слава, вызревавшая медленно – в мировую, туго налитую гроздь...

(Впрочем, нынешний, избыточно технологический мир, заставляет усомниться, что, если спросить многих на улицах Филадельфии или Дублина, получишь вразумительный ответ на вопрос: кто же такой Достоевский...)

Тем не менее, роль, которую сыграл классик, в жизни различных социумов, сложно переоценить, и Л. Достоевская, фиксируя многое, метафизически просвечивая разные линии жизни писателя, иногда позволяя себе спорные утверждения, предоставила будущему значительный материал для постижения образа одного из величайших писателей мира.

15

Вместе с братом интересовался учением французских социалистов, увлекался фюреризмом, мечтая о переустройстве общества, видя, насколько оно пропитано несправедливостью: почти кровотокающей субстанцией...

Михаил Достоевский был творчески зависим от брата: несколько его повестей – «Дочка», «Господин Светёлкин», «Два старичка» и др. – сильно просвечены «Бедными людьми», правда, с большим уклоном в сентиментализм.

Он был одарённым редактором; он болел этим делом, и Страхов писал, что умер М.М. Достоевский прямо от редакторства...

Он был талантлив: и упоминание о нём в истории русской культуры осталось бы и без колоссальной фигуры Фёдора, тень которого точно укрупняет всех людей, попавших в неё.

...Так и Андрей Михайлович – замечательный мастер, ярославский губернский архитектор, спроектировавший и построивший много зданий – оставил специфические воспоминания: поквартирные.

Так он решил составить записки обо всей своей жизни: сообразуясь со сменами квартир, словно избрав специфические призмы, сквозь которые рассматривал пройденную им реальность.

Неоднократно прерывал он записки, а после смерти гениального брата предоставил те их части, что относились к детству, первому биографу Фёдора Михайловича – Оресту Миллеру.

...Но мемуары потом были закончены: и суммарно дают интересную панораму тогдашней жизни, добавляя вместе с тем штрихи к портрету классика...